

- [Кривич Михаил , Ольгин Ольгерд](#)

- 



# Кривич Михаил , Ольгин Ольгерд

## Бег на один километр

Михаил Кривич, Ольгерд Ольгин

Бег на один километр

Когда мне перевалило за пятьдесят, я начал полнеть.

Каждый, с кем случается такая беда, обнаруживает ее внезапно и по-своему. У меня было так.

Стояло жаркое московское лето, когда вполне прилично ходить на работу в рубашке с коротким рукавом и в легких брюках, может быть, если вы работаете в официальном учреждении, то при галстучке с чуть-чуть приспущенным узлом. Где я работаю - не важно, но галстучка я не носил. Разве что по особым случаям.

Случай настал скоро: в изящном конверте из плотной бумаги пришло на мое имя (оно было вписано от руки каллиграфическим почерком) приглашение на прием, который имеет состояться... ну, и так далее. Идти ужасно не хотелось, но деваться было некуда. Я завязал с грехом пополам галстук и надел парадный летний пиджак, висевший без дела в шкафу с прошлого августа. Подошел к зеркалу, пригладил волосы и застегнул пиджак на верхнюю пуговицу. Вернее, сделал попытку застегнуть, потому что, как только пуговица влезла в петлю, пиджак перекосясь и стал морщиться под мышками. Я быстро расстегнулся, расправил плечи и стянул полы пиджака. Они едва сходились. Им мешал живот.

Я расстроился невероятно. Поджарым и стройным меня никто не назвал бы и в юности, скорее кряжистым или мускулистым, но уж никак не полным. Я всегда стараюсь держать форму. Иногда бассейн, регулярно теннис - это вошло в привычку. Правда, последнее время я уже не носился по корту как сумасшедший, но у задней линии играл неплохо, и драйвы мне удавались. Утираясь полотенцем после очередного сета, я говорил Юрке Пруднику: "Это тебе, Док, не формулы в тетрадке рисовать..." Прудник - единственный из моих одноклассников, с кем я не потерял связи. Он физик, доктор наук, мировая величина. В теннис он никогда не играл из-за полноты и отсутствия интереса к подвижным играм, предпочитал шахматы или

бридж, но на корт изредка навещался - посмотреть, как я играю, а потом погулять вместе, перекидываясь малозначащими фразами. "Ты мне нужен для разрядки",- говорил мне Прудник. Он мне тоже был очень нужен, хоть раз в неделю. Сам не знаю для чего.

И вот, стоя перед зеркалом и глядя на проклятую пуговицу, я представил себе, как раздаюсь вширь, покупаю напольные весы, сажусь на диету, выспрашиваю у знакомых, уже прошедших это тяжелое испытание, какие разгрузочные дни полезнее - кефирные или яблочные,- и все равно через год или два догоняю Дока, и мы с ним вместе ходим на корт, садимся рядом на скамеечку и вяло крутим головой, следя за мячом.

В тот же день я отказался от белого хлеба - а как я любил его, еще теплый, только что принесенный из соседней булочной, с маслом и яблочным мармеладом... Жене сказал, что впредь она сладости будет есть без меня, а пироги пусть печет для гостей. И главное - я решил каждый день бегать.

- Джоггинг - это хорошо,- флегматично заметил Юрка Прудник, когда я рассказал ему по телефону о своих намерениях. Он любил вставлять английские словечки, это выходило у него естественно и не вызывало у меня протеста. Только не перегибай палку.

Перегнуть палку я не боялся, потому что знал себе цену. А что до джоггинга, то по мне пусть уж лучше это чужеземное слово, чем "бег трусцой" или "бег от инфаркта". Трусцой бегать не приучен, а до инфаркта, надеюсь, еще далеко.

Итак, решено: каждый вечер (утром люблю поспать) по три километра. Без ускорений, но в приличном темпе. И через месяц посмотрим, кто кого.

Мягким вечером, не душным и не дождливым, в самый раз для первого выхода на люди в кроссовках и тренировочном костюме, я появился у Никитских ворот. Неторопливо поднялся по каменным ступеням и вошел на Тверской бульвар. Надо мной высилась могучая фигура Тимирязева. Великий естествоиспытатель, сложив руки на животе, смотрел вверх моей головы на кинотеатр Повторного фильма. Кинотеатр, в котором я на утренних сеансах за гривенник, то есть за рубль по-старому, перевидал столько лент, ушедших в небытие,- разве что изредка прокрутят что-то по телевидению, и я смотрю, не отрываясь, наивные сцены, в которых каждый жест подчеркнут и

каждое слово продекламировано...

Простите, отвлекся. Я хотел лишь объяснить, отчего выбрал местом старта подножье каменного Тимирязева.

Мое детство прошло по соседству с Тверским бульваром, и судьбе было угодно оставить меня здесь до зрелых лет, в то время как все мои одноклассники, вместе с другими жителями окрестных переулков, разъехались кто куда - в Тропарево, Строгино, Медведково... Днем в переулках этих толчея, потому что опустевшие дома раздали учреждениям, и служебные машины теснятся у подъездов, над которыми когда-то висели таблички с номерами квартир, а по вечерам тут малоллюдно, и я, конечно, мог спокойно бегать и по переулкам, не привлекая к себе особого внимания. Однако я в спорте не новичок, мне нужна отмеренная дистанция.

Наверное, проще всего бегать по кругу стадиона, да только нет его поблизости, а ехать неведомо куда ежевечерне - нет, увольте.

Тем более что совсем рядом столько раз измеренный нашими ногами Тверской бульвар длиной ровно в километр. Учительница физкультуры так нам и говорила: "От Тимирязева до Пушкина, тысяча метров, бегом - марш!" Москвичи, родившиеся до войны, понимают, конечно, что эту команду она отдавала нам в те далекие - такие ли уж далекие? - времена, когда великий поэт стоял еще на Тверском и не переселился на другую сторону площади, которой он дал свое имя. Тогда он, можно сказать, смотрел в лицо себе нынешнему, повернувшись спиной, без всякого злого умысла, к Тимирязеву, до которого от него был ровно километр.

Наша учительница физкультуры выводила нас на Тверской летом и зимой бегать или ходить на лыжах. "От Тимирязева до Пушкина - марш!" Ее имени и отчества я не помню, в памяти осталось только прозвище, мы звали ее Четэри, в этой кличке было что-то грузинское, может быть, даже княжеское, хотя сама физкультурница была светло-русая, скуластая, с выцветшими бровями, совсем не грузинка и не княжна. Когда мы в начале урока шли гуськом по кругу, она отчеканивала, задавая ритм: раз-два-три-четэри, с упором, с акцентом на это непонятное "э" в середине,- вот и стала для нас Четэри.

Ей было тогда, должно быть, лет тридцать, а нам она казалась уже пожилой, хотя с легкостью прыгала через коня и показывала каскад кувырков на пропыленных тряпичных матах. Еще она обожала

вольную борьбу и, хотя это совсем не женское дело, вела в школе секцию, где я числился среди фаворитов: кряжистым упорным мальчикам хорошо дается борьба.

Бег им дается хуже. Особенно когда они вырастают в кряжистых и уже не столь упорных мужчин, которым за пятьдесят.

"От Тимирязева до Пушкина..." Ну ладно, не до Пушкина, до фонарей под старину, что стоят сейчас на том, дальнем, почти не различимом конце бульвара.

Я покосился на прохожих, которым до меня не было дела, глубоко вдохнул и резко побежал по боковой дорожке вдоль ограды.

Корпус я старался держать прямо, бедро поднимать повыше, а центр тяжести переносить с ноги на ногу по возможности плавно. Кто его знает, как было на самом деле, но мне казалось, что все получается по правилам.

Слева промелькнули серо-белые каменные фигуры на газоне - сказочный зверь, некто непонятный, играющий то ли на дудке, то ли на свирели. По правую руку стоял большой дуб, у его подножья была табличка с возрастом двести лет. Нелепица какая-то, подумал я, написали бы, в каком году посажен, не то придется каждый год менять табличку - двести один год, двести два...

Эти мысли занимали меня недолго, потому что бежать стало гораздо труднее. К середине бульвара отяжелели ноги, сбилось дыхание, стало сухо во рту. Я уже не мог втягивать воздух носом на каждый третий шаг, а глотал его широко раскрытым ртом, без всякого ритма, как попало. Потом остро закололо в правом боку, и я понял, что недооценивал сложности бега трусцой, или джоггинга, как его ни называй.

Мы сразу замечаем, что отличает нас от прочих, ведь это так лестно быть сильнее, остроумнее, тоньше других. И втайне полагаем, что общие правила, применимые к большинству людей, писаны не про нас. Читал же я в книжках и слышал по телевизору - посоветуйтесь с врачом, начинайте с малого, прибавляйте понемногу,- но это же для слабых, а не для тех, кто прошел школу вольной борьбы, а потом до блеска отработал драйв слева.

Правило было писано и про меня.

Я понял это в то мгновение, когда всем телом почувствовал резкий толчок, будто внезапно остановился эскалатор метро. Меня крутануло

и, теряя равновесие, я успел заметить справа краснокирпичную стену нового МХАТа. Все вокруг затуманилось, задрожало, контуры деревьев, скамеек и чугунной ограды чуть сместились, как на плохой любительской фотографии. Я едва устоял на ногах. Нет, рано мне еще замахиваться на три километра. Потихоньку добегу до конца бульвара, и хватит на сегодня.

Но странное дело - после этого толчка я вновь почувствовал себя уверенно. Мир сфокусировался, контуры предметов стали четкими, пожалуй, даже более резкими, чем они были прежде, словно я надел очки, без которых, кстати, стараюсь обходиться. Мне показалось, что ноги мои стали быстрыми, а воздух как-то сам по себе проплывает через прокуренные бронхи и легкие, вымывая оттуда тяжелые осадки от "Столичных", "Стюардесс" и немножко от "Мальборо".

Бежалось, как ни странно, легче прежнего. Я чувствовал себя почти невесомым и ощущал радость от каждого движения. Должно быть, это и есть второе дыхание; удивительно, что прежде мне не доводилось испытывать такого приятного чувства.

Я слегка прибавил, это далось мне без труда, и совсем близко увидел бронзовую спину Пушкина и бронзовую руку с зажатым в ней бронзовым цилиндром. Совсем у памятника я сделал крутой вираж, чтобы, не снижая темпа, бежать по другой стороне бульвара обратно, к Тимирязеву,- все-таки наша взяла, и возраст для тренированного человека не помеха, но не успел я додумать эту нехитрую мысль, как сердце словно сорвалось со своего места и стало метаться в груди, колотясь о ребра, а в глотке застрял ватным тампоном смятый, скомканный воздух. Я споткнулся, зашаркал отяжелевшими ногами и остановился. Хватит на сегодня. Домой.

Пешком.

Я плюхнулся на скамейку. Отдышусь немного. Погляжу по сторонам. До чего же все-таки хорош опекушинский Пушкин, эта его левая рука с цилиндром, прижатая к фалдам сюртука...

Шутить изволите. Как же эту руку разглядишь, если Пушкин эвон сколько лет на другой стороне площади, лицом сюда, к Тверскому бульвару, а левая-то рука у него за спиной. Но я только что, готов поклясться, видел этот самый цилиндр и бронзовые фалды!

Я резко повернулся и сразу нашел на дальней стороне Пушкинской площади привычного Пушкина, даже разглядел цветы у

постамент, а потом перевел взгляд поближе. Мой Тверской, как и положено ему на нынешнем отрезке времени, завершался не статуей, а прямоугольниками клумб и стилизованными фонарями.

В мире что-то перевернулось, а потом стало на свои места. Впрочем, судя по беззаботным лицам прохожих, в мире все оставалось по-прежнему. Если что-то и перевернулось, то в моей голове. Галлюцинация вследствие физической перегрузки. А что тут особенного?

Наверняка парочка немецких профессоров еще в прошлом веке описала подобное явление, и с тех пор оно зовется их именами.

Какой-нибудь синдром Кнопфа - Танненбаума. Красиво и непонятно.

Я отдышался и побрел домой, придумывая своему синдрому новые звучные названия. Тимирязев стоял на своем обычном месте и все так же глядел на кинотеатр. Отсюда я сделал вывод, что недомогание кончилось.

На следующий день я пришел к Тимирязеву, дав себе зарок бежать не более километра, причем в самом щадящем темпе. Гордясь своим благоразумием, я совершенно спокойно, без намека на усталость, прошел половину дистанции. Никакой одышки, никакого колотья в боку. Вот и славно. Буду прибавлять день ото дня метров по двести - триста, потом немного увеличу темп, через месяц, глядишь, выйду на запланированный рубеж. Главное - не форсировать события.

Совершенно на ровном месте, без видимой причины, разрывая нехитрую цепочку моих рассуждений, меня, как и накануне, вдруг резко крутануло, и картина перед глазами поплыла, теряя резкость.

Но я уже знал, что через секунду резкость восстановится, и был готов поймать это ускользающее мгновение, понять, что же, в конце концов, со мной происходит.

Я машинально продолжал бежать. Все было почти как прежде, но чего-то в пейзаже не доставало. Что-то из него исчезло. Что?

На месте не было МХАТа. Вместо него громоздилась заброшенная кирпичная постройка, величественная и жалкая одновременно.

Сотни раз я проходил мимо нее. Лишь много лет спустя, когда я растерял всех школьных друзей, кроме Юры Прудника, эти каменные руины в самом центре Москвы превратились в театр.

И что-то в пейзаже было лишним. Я понял, что именно, как только

заскрежетали колеса и раздались резкие звонки,- один, другой, третий раз нажали на педаль, чтобы расшевелить зазевавшихся прохожих,- я понял, что вдоль бульвара идет красный двухвагонный трамвай.

Трамвай как трамвай. Меня трудно им удивить, хотя я знаю точно, что здесь уже лет тридцать назад сняли рельсы. Просто у меня синдром. Синдром Бауэра - фон Линденгроссена. С кем не случается. Вот с этими, что бегут рядом со мной и впереди меня, с ними, должно быть, то же самое. Только отчего они все такие молодые, совсем мальчишки? И почему на них одинаковые голубые майки и черные трусы? И зачем я бегу вместе с ними, стараясь не отставать, и кто этот тощий, с сухими длинными ногами, что бежит впереди всех, и я так хочу догнать его, но знаю, знаю же, что никогда мне этого не сделать, потому что...

Стоп, сказал я себе. Спокойно. И не надо щипать себя за руку, потому что это не сон. Всему найдется объяснение. Не сейчас, так позже. А пока давай вперед, к финишу, и там, если очень захочется, можешь порассуждать.

И я бежал, стараясь не рассуждать, последнюю сотню метров до финиша, но сердце мое колотилось сильнее прежнего. Там, слева, за оградой бульвара, есть сквер с фонтаном, и у фонтана обычно сидят люди на скамейках, сто раз я видел это, проезжая мимо на троллейбусе, сидят, конечно, если погода хорошая, а в плохую фонтан не работал, но сквер-то все равно оставался, и еще над ним, на стене углового дома по Сытинскому переулку, висят часы, по которым никак не понять, сколько же сейчас времени,- загадка часового искусства.

Так вот, сквера не было, и фонтана, и часов. Там стоял двухэтажный дом, и в нем кинотеатр "Новости дня", в котором я впервые познакомился с кинематографом, просмотрев ленту "Человек рассеянный". А рядом с кино шашлычная "Эльбрус", куда мы не раз заходили после стипендии.

Бред. Синдром Бюхнера - Эрленмейера.

С головой, вывернутой влево, уставившись глазами на вывеску "Эльбруса", я чуть не налетел на пьедестал, который вместе со статуей Пушкина опять переехал на Тверской бульвар. Бежавшие со мной мальчишки в черном и голубом тоже остановились. Один тяжело отдувался, другой завязывал шнурок на тапочке, трое ребят отошли в сторону и над чем-то тихо смеялись. Их лица казались мне странно



знакомыми.

Я переводил взгляд с одного лица на другое, пытался вспомнить, где и когда я их видел. И что более всего поражало меня - никто не обернулся в мою сторону, никто не воспринял меня как чужака, затесавшегося не в свою компанию.

За спиной раздался тяжелый топот, кто-то крикнул: "Давай, Слон, прибавь маленько",- и все засмеялись; я обернулся и увидел пухлого паренька, неуклюже переставляющего ноги. К его смуглому лбу прилипли черные пряди волос, он отдувался, но кое-как бежал, не переходя на шаг. "Вперед, элефант! Идешь на рекорд! Финиш королевского слона!" Не обращая внимания на выкрики, парень топал прямо на меня. Это был Юрка Прудник. Слон. Пятнадцатилетний Королевский Слон. Я и теперь редко обращаюсь к нему по имени, ему это не идет, зову его Слоном или Доком. То, что он станет доктором наук, не вызывало ни у кого сомнений с первого класса.

Когда на тебя бежит слон, ему надо уступить дорогу. Я сделал шаг в сторону. Я ждал, как продолжится сюжет, что будет потом и чем все это кончится - детская наивная любовь к кинематографу, простому, с крепко сколоченной фабулой, с погоней и с непременным торжеством добра над злом. Когда Док еще был для всех Слоном, я смотрел такие фильмы раз по пять.

Продолжения не было. Исчезли "Новости дня" и "Эльбрус", сгнули трамвайные рельсы за оградой, Пушкин переместился на другую сторону площади, растаяли в воздухе хохочущие над юным Прудником мальчишки со смутно знакомыми лицами. И сам Слон, неудержимо набегавший на меня, исчез, канул в небытие. Я почувствовал усталость, может быть, от внезапности пережитого, а может, просто от того километра, что остался за спиной.

На скамейке было полно народу. Я повернулся и неспешным шагом пошел к дому. От меня в сторону Никитских ворот убегал какой-то сухопарый лысый мужчина, одетый, как и я, в тренировочный костюм и синие адидасовские кроссовки.

Назавтра я позвонил Пруднику на работу, мне не терпелось узнать, видел ли он что-либо подобное, где был в тот момент, когда топал на моих глазах по бульвару, но секретарша сказала, что шеф уехал в лекционное турне по провинциальным заокеанским университетам. Добрый месяц он будет морочить голову веснушчатым студентам из

штата Индиана, как следует понимать пространство и время в свете нынешних концепций, которые ему, Слону, известны лучше, чем кому бы то ни было.

Вечером, надев спортивный костюм, я вновь отправился на Тверской. Хватит выдумывать себе синдромы. Пора разобраться что к чему. Авось и без Дока сумею.

Когда я добрался до места, которое назвал для себя точкой перегиба, меня вновь крутануло, но теперь я уже знал, чего можно ждать от пространства и времени в этой точке. Опять вместо МХАТа стояло недостроенное чудище, и это не удивило меня, потому что так и должно быть, и бежал я не один, а в компании своих одно классников, и это тоже было в порядке вещей.

Я узнал их всех, разве что не смог припомнить все фамилии.

Класс растянулся на полсотни метров, замыкал группу, конечно Слон, потому что он был Слоном. Еще, по настроению, он был Жирный-Поезд-Пассажи́рный. Впереди, оторвавшись от группы, мчался, скупно работая руками, длинноногий жилистый Санька Карюхин.

А рядом, по центральной аллее, вдоль скамеек бодро бежала Четэри с секундомером в одной руке и с жестяным рупором в другой.

Физическая подготовка у нее была что надо, она бежала наравне с нами и что-то кричала на бегу в свою жестяную дудку. Мне показалось, что она обращается ко мне: "Коленки подымай, подымай, говорю, коленочки, не спи на ходу!" А я не спал. Я подымал коленочки выше некуда. Потому что очень хотел догнать Саньку Карюхина. Догнать, обойти и первым оказаться у Пушкина. Мне это было нужно - вот так. Позарез.

Обучение в те годы, как вы помните - или знаете понаслышке,- было раздельным. Девочки учились в соседней школе. Но бегали они по тому же Тверскому бульвару, правда, не километр, а меньше, потому что они девочки. И у них была форма, похожая на нашу, только майки не синие, а белые. А трусы тоже черные, но широкие, как паруса, вроде коротких шаровар, на резинках снизу.

Ужасно смешные трусы, в них даже самые изящные девочки выглядели неуклюже, у худеньких ноги казались еще тоньше, чем были на самом деле.

Только одну девочку, одну-единственную, казалось мне, не могли

испортить даже эти дурацкие трусы. Я знал, что она сейчас сидит с подругами на скамейке у финиша, но все ее подруги были для меня на одно лицо, так что добежать первым мне надо было только из-за нее. Я не знал, как ее зовут. Никогда с ней не разговаривал.

Не подходил близко. Пока я не обгоню Саньку Карюхина, пока не добежу первым, знал я, у меня губы не шевельнутся, чтобы сказать ей "привет" или что-то в этом роде.

Такая была у меня внутренняя установка. Наверное, и у нее есть красивое название.

Эту девочку я увидел в первый раз зимой, когда Четэри привела нас на Тверской с лыжами. Я запомнил вишневый байковый костюм и вязаную вишневую же шапочку. Девочки всегда прибегали раньше нас - у них же дистанция короче - и сидели на лавочках у финиша, отдыхали. Я много раз давал себе слово подойти к ней, и мне казалось, что она этого ждет, но я не мог пересилить себя, пока этот тощий Санька Карюхин опять и опять приходит первым...

Но что сказать ей, когда я обгоню наконец Карюхина? Я не мог ничего придумать. Да и надо ли придумывать, если Саньку все равно не обогнать?

Как давно это было, однако!

Всякий раз, выкладываясь до последнего, я приходил к Пушкину вторым.

Четэри говорит, что я не бегун, а борец, потому что ноги у меня тяжеловаты. И еще, говорит она, мне не хватает злости.

Вот если бы эта девочка с Тверского пришла к нам в зал, когда мы тренируемся на матах! Я бы припечатал всех на лопатки, одного за другим, дождал бы и того десятиклассника, который здорово держится на мосту. Но Саньку Карюхина с его ходулями никакой злостью не возьмешь. И я уходил с Тверского, не оборачиваясь, и спиной чувствовал, что кто-то провожает меня взглядом...

Почти каждый день я ходил теперь на бульвар бегать в прошлое.

Повидаться с одноклассниками, украдкой посмотреть на девочку - у нее такой серьезный и чуть укоризненный вид, - и конечно же побыть самим собою, таким, каким я был до института, до женитьбы, до работы и всего прочего, что сделало меня таким, каков я сегодня.

А каков я сегодня? Не о полноте речь, тем более какая там полнота, так, склонность. Я знаю то, умею это, разбираюсь кое в чем,

что-то игнорирую, может быть, напрасно, но в чем моя нынешняя суть? Зачем я хожу на работу, на теннисный корт, для чего болтаю о разных пустяках с Прудником, почему решил отказаться от белого хлеба и начал бегать? Разве от двух-трех лишних килограммов что-то внутри у меня переменится?

С того дня, когда я снова увидел на бульваре ту девочку в смешных трусах и спина Саньки Карюхина опять и опять маячила передо мной, я бегал, наверное, ради того, чтобы получить ответ хотя бы на один из этих вопросов. Если не видно разгадки в сегодняшнем дне, может быть, она отыщется в прошлом.

Это прошлое крутилось перед моими глазами, как видеолента.

Все знакомцы из тех времен, когда не снесли еще кинотеатр "Новости дня", прошли передо мной, и я не видел только одного - самого себя. Действие разыгрывалось вовне, а внутри я был мужчиной за пятьдесят, и не было рядом зеркала, чтобы разглядеть себя четырнадцатилетнего. Да и надо ли?

Жена была уверена, что я слегка свихнулся на почве бега, однако относилась к моим занятиям доброжелательно, поскольку считала, что каждый человек в определенном возрасте обязан иметь какое-нибудь пристрастие. Она, например, собирала камни и каждый год показывала их на очередной выставке коллекционеров-любителей. Мне приходилось ездить на открытие, выслушивать скучные речи и делать вид, будто я разделяю всеобщее восхищение какими-то особыми халцедонами. Но я посещал эти выставки исправно, и моя жена, хотя и с усмешкой, тоже благословляла меня на забеги по Тверскому. К счастью, она ни разу не пришла посмотреть, как я справляюсь со своим километром.

Единственное недоразумение возникло после того, как я вернулся с бульвара не в своих кроссовках с тремя полосками, а в темносиних тапочках из парусины на черной литой резине. Я даже не припомню, когда видел в последний раз такие тапочки в магазинах, их, должно быть, перестали делать давным-давно. А в школе мы всегда бегали в таких, разве что иногда попадались не темно-синие, а коричневые, изредка с красной окантовкой. Не знаю, как это получилось, но после поворота в настоящее - мы брели тогда по аллее с юным Слоном и он доказывал мне, что Эйнштейн подходит к единой теории поля не с того конца, а я соглашался, хотя и не знал толком про Эйнштейна, потому

что в те годы его в школе не проходили,- так вот, оказавшись в настоящем времени, я обнаружил, что кроссовки по непонятной причине остались там, вдалеке, а я шагаю в темко-еиних тапочках, которые, как ни странно, даже не жали. В них я и пришел домой, заготовив по дороге объяснение для жены, каким образом произошла такая перемена. Кажется, я сказал ей, что выручил одного провинциала и разукрасил это происшествие романтическим орнаментом, ввернув несколько слов о любви провинциала к уральским самоцветам,- и вопрос был исчерпан.

Гораздо труднее было найти объяснение тому, что происходило со мной почти ежедневно. В физике я не очень силен, но мне помогли здравый смысл и общая эрудиция, которую признает даже Док, правда, в своеобразной форме. "Ты очень нахватак", - говорит он. Однако, когда ему надо узнать, как звали того парня, который первым построил самодельный радиотелескоп, он не лезет в энциклопедию, а звонит мне.

Я прокручивал в голове десятки вариантов и отбрасывал их один за другим, пока не наткнулся на элементарное объяснение.

Удивительно, до чего оно оказалось простым. Смотрите. Мы живем в трехмерном мире и всю жизнь мечемся в пространстве меж трех осей. Есть еще четвертая, ось времени, вдоль которой метаться возбраняется, а можно лишь плавно и равномерно двигаться к неизбежному концу. Или, если брать человечество в целом, то к прекрасному будущему.

Возможно, вы слышали об искривлении трехмерного пространства. Тогда совсем нетрудно представить себе такой изгиб, при котором точка - пусть для ясности этой точкой буду я сам - сместится во времени, скользнет по его оси. Вперед или назад - это дела не меняет.

Непонятно? Тогда эксперимент на пальцах. Упростим все до предела, пусть будет не трехмерное, а двухмерное пространство, скажем, лист бумаги. Нарисуем на нем две пересекающиеся линии, оси координат, и в любом месте поставим точку. Эта точка - я в двухмерном пространстве. Или вы, если вам так будет понятнее.

Теперь приставим к началу координат спицу и проткнем ею бумажный лист насквозь. Острие спицы указывает то направление, в котором движется время. Но попробуйте смять произвольным образом

нанизанный на спицу бумажный лист, и вы увидите, что точка, которой вы себя обозначили, оказалась уже впереди прежнего положения, то есть в будущем. Или, с той же вероятностью, позади, в прошлом, А это как раз мой случай.

Конечно, тут было редчайшее стечение обстоятельств, уникальное взаимодействие полей, которое мне не объяснить и тем более не показать на пальцах, как фокус со спицей. Надо дождаться Дока, он что-нибудь придумает. Но если такое может в принципе случиться, то почему не сейчас и отчего не на Тверском бульваре?

А на бульваре все шло своим чередом. Я прибежал не первым, но среди первых, болтал с ребятами, и они называли меня уже забытым мною школьным прозвищем - Батон, потому что и тогда я очень любил белый хлеб с яблочным мармеладом, и Четэри покрикивала на меня, когда я пытался сделать ускорение на финише: "Коленочки, коленочки выше! Руками работай!" Я научился не вываливаться сразу после финиша из старого времени и несколько минут оставался с ребятами; для этого достаточно было не двигаться резко и не менять своего места в группе.

Вел я себя, впрочем, не совсем естественно: смеялся чуть громче, чем нужно, и старался не встретиться глазами с той девочкой, только изредка и на мгновение бросал на нее взгляд. У нее было мягкое круглое лицо и очень светлые легкие волосы, а цвет глаз я не мог рассмотреть, наверное, серые или зеленые. Подойти поближе я не решался. Может быть, боялся, что, сделав шаг к скамейке, я так и останусь в прошлом, что воронка времени засосет меня и я не смогу выбраться на поверхность, в мои естественные дни.

Что же, собственно, пугало меня? Чем плохо попросить убежища в собственной юности, пройти заново лучшую пору жизни, вступить в зрелость, не повторяя совершенных когда-то ошибок, и достичь пятидесятилетия во второй раз - с удвоенной мудростью?

Да, я не избежал такого искушения. Но Санька Карюхин был впереди, и Четэри говорила мне не раз: "Ты не бегун, ты борец. И тысяча метров не твоя дистанция".

Каждый должен искать шансы на своей дистанции. Моя пройдена больше чем наполовину, и поздно уже возвращаться к старту.

Поздно и нечестно. Второй раз прокручивать свою жизнь, лавируя и подстилая соломку на то место, где упадешь,- в этом есть что-то

нечистое, верно?

Впрочем, размышляя таким образом, я скорее отстаивал свои нравственные принципы, нежели принимал решение - остаться или вернуться. Ибо как я ни старался, но через пять, от силы через десять минут неизменно вываливался из мальчишеского прошлого и оказывался напротив сквера с безумными часами. Это могло случиться от чьего-то громкого выкрика, от резкого поворота головы, от того, наконец, что я чувствовал на себе взгляд светловолосой девочки.

Тверской бульвар без шашлычной и "Новостей дня" терял сразу немного красок, но, наверное, не потому, что это здание так уж украшало его - просто с возрастом восприятие у каждого становится менее острым, да и зрение начинает пошаливать. Ноги мои тяжелели, но я все же старался не идти обратно пешком, а пробежать по аллее хотя бы сотню-другую метров. И всегда впереди маячил высокий худой мужчина с большой лысиной. Он бежал упругим, пружинистым шагом, в нем угадывался бывший спортсмен, притом хорошего класса.

С некоторого времени по дороге домой я стал встречать на аллеемоложавую женщину, подтянутую, с очень светлыми волосами; мне казалось, что она как-то по-особому провожает меня взглядом. Иногда она прохаживалась по аллее, иногда сидела с вязаньем на скамейке. От свежих ощущений, принесенных из прошлого, мне становилось беспокойно и грустно, хотя я и понимал, что возможность совпадения ничтожно мала, и все мои сверстники давно разъехались кто куда, и так много на свете женщин с легкими светлыми волосами.

Моя жизнь, прежде полная событиями, приобрела некоторую монотонность. Что ни день, я скатывался по искривленному желобу в собственное прошлое, в одно и то же время и место, подмечал мелкие перемены, происходившие у памятника Пушкину, и ждал, волнуясь, когда же что-то изменится решительным образом. Впрочем, я не подгонял события, ведь время в юности медленное и сладостно тягучее, какой была исчезнувшая неведомо куда конфета "Коровка".

Был уже конец августа, и первые желтые листья падали на аллею, когда наступил наконец мой час - тот самый, ради которого я день за днем выходил на бульвар. Полнота больше не тревожила меня, но чего-то мне не хватало, может быть, злости, как говорила Четэри, и я был этому рад, потому что любая злость мне претит, даже спортивная. И если мой час настал, то иное чувство было тому причиной, я не хочу

называть его, потому что боюсь высокопарности, знаю только, что со злостью оно никак не совмещается.

Впервые за последнее время выдался пасмурный день, к вечеру прошел мелкий дождь, и от теплого асфальта поднимался пар. Когда в середине бульвара я привычно вбежал в свое детство, там пронзительно пахло теплыми мокрыми листьями. Как всегда, я увидел впереди худую спину Сани Карюхина в пропотевшей голубой майке. Саня бежал как автомат, ритмично переставляя ноги, и руки его ходили, будто шатуны, взад и вперед, прижатые к худым бокам.

Запах листьев бил мне в ноздри, пар стелился над землей, сзади раздавался топот десятков ног, и в это мгновение я вдруг ясно почувствовал, что могу догнать Карюхина. Эта дистанция будет моей, хотя бы один раз в жизни, пусть я и не умею как следует поднимать колени и ноги у меня тяжеловаты для бега.

Я рванул, как будто бежал стометровку. Казалось, что Карюхин остановился, а я медленно, преодолевая могучее сопротивление, сокращаю расстояние между нами, сжимаю разделяющую нас пружину. Сердце колотилось неистово, воздуха не хватало, но я смял эту воображаемую пружину, отбросил ее прочь, и препятствия между нами уже не существовало.

Саня оглянулся, увидел меня за спиной и попытался сделать рывок, но я поравнялся с ним, и мы бежали локоть в локоть, иногда задевая друг друга.

- Еще немножечко, еще капельку,- кричала Четэри в свой рупор. Толчковой порезче!

Она кричала это мне, а не Саньке, ведь всегда невольно болеют за тех, кто слабее, кто выигрывает не по прогнозу, а вопреки ему.

И я пытался толчковой порезче, нажимал еще капельку, еще немножечко. Я не имел ничего против Карюхина, но я слышал Четэри, видел перед собой глаза той девочки так близко, как не видел никогда, чуть удлинённые серые глаза, которые смотрели на меня с надеждой и толкали меня вперед.

У бронзовых ног Пушкина я остановился. Карюхин был у меня за спиной.

Дальше все было не так, как мне виделось в мечтах.

Я не подошел к ней. Она сама встала со скамейки, посмотрела на меня в упор и тихо сказала:



- Наконец-то. Я так рада.

- Спасибо,- ответил я и замолчал беспомощно. Не знал, что еще сказать. Волна радости накатила на меня и подняла на свой пенный гребень. Наверное, я сделал какое-то неосторожное движение, может быть, просто то было движение души, я подался навстречу девочке, кажется, хотел спросить у нее имя, только и всего, но этот гребень опрокинул меня и вышвырнул на Тверской бульвар моих зрелых лет, без Пушкина и всего прочего, что осталось там, далеко, в детстве.

Но странное дело - впервые за все это время я не чувствовал усталости, словно и не пробежал километр, да еще быстрее Саньки Карюхина. Волна, которая выкинула меня на берег, толкала меня и несла, и я побежал от площади размашисто и свободно, не сожалея о том, что пришлось вернуться в сегодня. "Наконец-то",- сказала она. Так легко я никогда не бегал.

Впереди появилась худая спина лысого бегуна, того самого, которого я видел здесь и прежде. Любопытно было бы заглянуть ему в лицо, и я без особых усилий увеличил скорость. Обогнал лысого, оглянулся. Он смахивал на Саньку Карюхина, хотя, конечно, кто может поручиться...

Я помахал мужчине рукой, он улыбнулся и ответил тем же жестом. Мне подумалось, что и в Саньке не было никакой такой особой злости, просто он бегал лучше меня, вот и все.

Когда до Тимирязева оставались считанные метры, на аллею вышла светловолосая женщина с сумкой, из которой торчали спицы. Женщина выжидающе посмотрела на меня. Я остановился.

- Как красиво вы бежите,- улыбнувшись, сказала она. - Я часто вижу вас здесь.

- А вы, наверное, хорошо вяжете,- ответил я.- Для меня это тайна за семью печатями.

Женщина засмеялась.

- Завтра я буду сидеть на этой скамейке и довязывать шапочку.

- А я завтра буду бегать.

- Значит, до встречи,- сказала она и опять засмеялась.

И я отложил еще на один день разговор, так странно начатый тридцать с лишним лет назад. Я боялся этого разговора. Нас разделяла едва ощутимая грань, которую так легко смять неосторожным словом. Завтра, думал я, шагая к дому. Что значит один день?

Завтра.

На следующий день, едва я зашел на бульвар, меня окликнули.

На ближайшей к выходу скамье вальяжно развалился Слон в клетчатой куртке, снизу доверху на молниях и заклепках. Тяжелые слоновьи ноги обтягивали джинсы, на которых было еще больше заклепок.

Смешно, подумал я. Свой первосортный товар, свои уникальные лекции Док обменял на бусы и стекляшки. Однако Слон, судя по всему, так не считал. Он был крайне доволен собою. Ему не терпелось поделиться путевыми впечатлениями.

Я хлопнул его по джинсовой ноге и сел рядом.

- У меня такое дело, Док...- начал я. Но не смог договорить.

Оказывается, в штате Айова, в тамошнем университете, когда он, по обыкновению, стал объяснять свои взгляды на единую теорию поля, один из местных балбесов принялся свистеть, едва только Док позволил себе усомниться в подходе Эйнштейна к этому вопросу.

А в университете Джона Гопкинса...

В тот вечер, который мог перевернуть все мое прошлое и будущее, мне было не до тамошних университетов и царящих в них нравов. Я не очень вежливо перебил Дока и путано изложил ему события на Тверском, которые происходили в то время, пока он, Док, мотался по университетской глубинке. Я рассказал ему все - о дистанции в один километр и финишах Королевского Слона, о Четэри и Саньке Карюхине, даже о женщине с вязаньем, с которой я вчера перекинулся малозначащими фразами. А потом носком тапочка нарисовал на песке координатные оси и выложил свое объяснение, почему и как я попадаю с Тверского бульвара в прошлое и возвращаюсь обратно. Помните, про спицу и скомканную бумагу.

Слон слушал меня сочувственно. Он опустил голову на грудь, отчего число подбородков удвоилось, и сказал:

- Чушь.

Я обиделся.

- Совершенная чушь,- уточнил Прудник.- Тебя не извиняет даже сомнительное образование и столь же сомнительный род занятий.

Не торопясь, уверенным лекторским тоном Док объяснил мне, что думает современная наука о взаимосвязи пространства и времени. Я ничего толком не понял, кроме, разве что, одного: если бы даже

случилось невероятное и на Тверском в самом деле образовался желоб, то мне, чтобы в него попасть, пришлось бы развить скорость, превышающую скорость света, на что, как я обязан знать, существует строгий запрет. И тогда, добавил Слон с издевкой, я потерял бы не только паршивые кроссовки, но и собственное тело, включая не слишком умную голову.

- И все же,- спросил я вьедливо,- как ты объяснишь тот факт, что я с тобой разговариваю, а кроссовки мои исчезли?

- Будь я следователем,- сонно возразил Прудник,- я нашел бы двадцать подходящих версий. Мне лень рассуждать на эту тему. Тем более что эта пропажа, в отличие от нашей бесценной молодости, легко восполнима.

И жестом доброго волшебника он положил мне на колени яркую пластиковую сумку.

- Примерь,- сказал он.- Кажется, твой сайз.

- Размер,- ответил я.- По-русски это размер.

- А я что сказал? - удивился Док.- Я и говорю - сайз. Примерь спикеры.

В сумке были кроссовые туфли со встроенным в язычок микрокалькулятором для расчета беговых нагрузок. Сайз действительно оказался моим. Туфли были мне впору.

Я сунул темно-синие тапочки в сумку и предложил Пруднику пробежаться вместе, чтобы увериться в моей правоте. Слон так посмотрел на меня, что я не решился настаивать. Впрочем, он согласился дойти пешком до места, откуда я попадал в прошлое, и посмотреть что к чему.

Всю дорогу до МХАТа Док обиженно ворчал - солидный ученый, почетный член и лауреат, дел сверх головы, а он отвлекается на мальчишеские глупости. За несколько шагов до того самого места Док по моему сигналу перешел на неуклюжую трусцу, я побежал рядом. Мы пересекли воображаемую черту - и ничего не произошло. Ровным счетом ничего. На скамейках сидели одетые по-нынешнему парочки, мужчина прогуливал скотчтерьера, справа над бульваром нависала громада Художественного театра.

- Это все? - спросил Прудник с облегчением.- Тогда пошли, но, чур, без спешки.

Мы добрали до конца бульвара, поглазели через площадь на

Пушкина, молча посидели на скамейке и пошли ко мне домой пить чай.

Жене очень понравились новые кроссовки. И еще больше кольцо с индейской бирюзой, которое Док преподнес ей с истинно слоновьей галантностью.

На следующий день я вышел на Тверской в новых кроссовках и опять не попал в изгиб. Он словно сгинул после объяснений Дока. Раз за разом я пытался преодолеть невидимый барьер, и все без толку. Когда я прекратил бесплодные попытки, было уже поздно, женщина с вязаньем, наверное, ушла. А может быть, она в тот день не приходила на бульвар вовсе.

Дома я нашел записку от жены: "Уехала в клуб. Ужин на плите.

Позвони Пруднику". В кастрюльке плавала цветная капуста, я погрел ее, выудил вилкой и съел, стоя у окна. Капуста хороша в масле и в сухарях, пожалуй, немного сметаны тоже не помешает. Я поставил тарелку в раковину и пошел звонить.

- Стареешь, энциклопедист! - закричал Прудник. Он был настроен агрессивно.- Если память подводит, не ленись заглянуть в справочник. Я сегодня посмотрел, и что же? А то, что нет в Тверском бульваре километра. Девятисот метров - и тех нет. Твоя история фальшива с самого начала. Откуда ты взял этот километр?

- Но Четэри столько раз говорила...

- Не верь устному слову,- наставительно произнес Док,верь печатному. Спокойной ночи, авантюрист.

Я вернулся на кухню и вымыл тарелку. Без масла и сметаны она отмылась мгновенно. Потом я нашел сумку с темно-синими тапочками и спрятал ее в стенной шкаф подальше, за коробки с камнями, которые жейла не разрешала выбрасывать.

Еще не раз я выходил на Тверской, и все безрезультатно. Структура пространства-времени, надо думать, хрупкая штука, а тут сотни прохожих, электрический ток в проводах, пятна на Солнце, мои кроссовки с микрокалькулятором, да мало ли что еще. Удивительно не то, что этот желоб исчез, а то, что он вообще существовал...

Но существовал ли он? Да, тысячу раз говорю я. Нет, один раз сказал Док. И это единственное "нет" оказалось сильнее. Мне нечего противопоставить этой силе, перед безупречной логикой отрицания любой из нас беззащитен. В Тверском бульваре меньше километра,

Пушкин стоит на другой стороне площади, пространство не сомнешь, как бумажный лист. Я достаю из стенного шкафа тапочки, провожу пальцем по их грубой синей парусине, по черной резиновой подошве и кладу их обратно, в дальний угол, за коробки.

До самой поздней осени я видел на бульваре худую спину немолодого бегуна (лысину он уже прикрывал шапочкой); я хотел догнать его, но никак не мог этого сделать, потому что только один раз, один немислимый раз, движимый не завистью и не злостью, я догнал Саньку Карюхина, и такие минуты, понимал я, не повторяются.

И еще я встречал иногда на бульваре женщину с милым лицом, она вязала или просто глядела на прохожих, изредка поправляя рукой легкие волосы. Мы обменивались кивками, но подойти к ней ближе я так и не решился - было как-то неловко ни с того ни с сего присесть рядом, а повода все не находилось. Я пробежал мимо, склонял голову, и женщина поворачивалась ко мне, отвечала наклоном головы, и чудилось мне, провожала взглядом, но я не оборачивался, потому что чувствовал непонятный, необъяснимый стыд; и мне все хотелось подойти поближе и разглядеть, какого же цвета у нее глаза - серые или нет, ведь с возрастом, говорят, цвет глаз может измениться. С возрастом многое может измениться, но я не знаю, надо ли об этом жалеть.

Все хорошо, говорил я себе. Все складывается ол-райт, говорил мне Док. Мой халцедон получил на выставке первый приз, говорила мне жена.

Чего во мне нет, так это злости. Ни спортивной, ни какой другой. Может быть, нет во мне и еще чего-то, что злости противоположно. Не мне о том судить.

А потом я перестал ходить на бульвар. Записался в группу здоровья, ездю через день на занятия в Лужники. Там хороший зал, теплый душ, толковые тренеры. Лишний вес я давно сбросил и сейчас спокойно ем на ужин хлеб с маслом и яблочным мармеладом.